

Н. Г. Гарин-Михайловский

**Инженеры. Семейная хроника
- 4**

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-053.2
ББК 74.27

Н. Г. Гарин-Михайловский

Инженеры. Семейная хроника - 4 / Н. Г. Гарин-Михайловский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 190 с.

ISBN 978-5-458-03577-4

Переиздание книг из цикла автобиографических повестей прогрессивного русского писателя конца XIX в. Николая Георгиевича Гарина-Михайловского.

Для старшего школьного возраста.

ISBN 978-5-458-03577-4

© Издание на русском языке, оформление, «

YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «

Книга по Требованию», 2011

Гарин-Михайловский Николай
Георгиевич
Инженеры (Семейная хроника -
4)

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

Инженеры

Из семейной хроники

"Студенты" (1895 г.) и "Инженеры" (незаконченная) - две последние повести тетралогии Н.Г.Гарина-Михайловского. Прослеживая дальнейшее становление характера своего героя - Артемия Карташева - автор дает в "Студентах" широкую картину жизни, быта и настроений студенчества. В тетралогии художественно преломился богатый и разнообразный жизненный опыт писателя, отразилась современная ему русская действительность предреволюционной эпохи. Горький называл тетралогию "целой эпопеей".

I

- Довольно!

И осветились вдруг весь этот громадный зал в два света, экзаменационные зеленые столы, черные доски. И это он, Карташев, стоял, и это ему говорил профессор, пробежав глазами исписанную доску:

- Довольно!

Там в открытых окнах был май, легкий ветерок качал занавески, доносился аромат распускающихся деревьев, сверкало солнце, грохотали мостовые. Карташев кладет в последний раз в жизни этот мел и повторяет мысленно "довольно", стараясь как можно сознательнее пережить это мгновение. Итак, довольно, он - инженер. То, к чему четырнадцать лет стремился с многотысячным риском сорваться, - достигнуто.

Каким недостижимым еще вчера казалось это счастье, и отчего теперь, когда цель достигнута, безумная радость не охватывает его неудержимым порывом, отчего он чувствует только, что устал, что хочет спать и что то, к чему он стремился, теперь, когда это достигнуто, кажется ему таким ничтожным, нестоящим...

И потом, положив мел и отойдя в глубь залы, Карташев продолжал ощущать все ту же охватившую его пустоту, в которой как будто вдруг потерял себя.

Ему казалось, что нет больше ни его, ни всех этих людей, здесь стоявших, волновавшихся. Что все они только тени, быстро, быстро проносящиеся в пространстве времени.

И что все эти радости, горе? Что вечно среди этого изменяющегося, равнодушного, неудержимо несущегося вперед?

Двадцать пять лет его жизни казались ему теперь только одним промчавшимся мгновением, в котором так ярко помнил он все, всякую мелочь. И в то же время так скучно, так ничтожно, так прозаично все это. И все-таки хорош этот день, этот ясный радостный май, в открытых окнах эти ароматные вздохи ветерка, тянувшего с собой привет полей, лесов. Он поедет скоро туда, опять увидит свою Новороссию, ее степи, неподвижные, безмолвные, с угремыми скирдами сена на горизонте, ясную тихую речку в камышах с далекою далью сел, церквей, белых хаток, высоких и стройных тополей. И спит это все там теперь в ярком сиянье веселого дня, молодой весны, радостных надежд.

Правда, там нет лесов. Здесь под Петербургом он только узнал эти леса, полянки среди них, здесь под Петербургом только узнал он и аромат этих распускающихся лесов и мощное пробуждение их сразу от зимней спячки. Осень на юге, весна на севере. А эти ночи светлые, белые, - дни во сне, молчаливые,

светлые, ароматные. Этот аромат распускающихся душистых тополей и сейчас несется с островов. Ах, эти острова, их сочная зелень, близость их друг к другу, голубые полосы окружающей их со всех сторон воды. Карташев вздохнул всей грудью. Везде прекрасна природа, и жизнь ее и красивее и законнее людской жизни. Радость ее - радость всех, а радость одного человека - всегда горе для других.

Вот он, Карташев, радуется, что кончил курс, что инженер он теперь. А основа этой радости? Кончил за счет тысяч других обездоленных. Кончил и обеспечен и будет сыт все за тот же счет других голодных.

А можно как-нибудь изменить все это?

Карташев поднял голову и следил в окно за птичкой, нырявшей в радостной синеве безмятежного неба.

Когда-то в гимназии он думал с другими, что можно. Теперь, когда он узнал жизнь... Теперь он думал, что нельзя? Теперь он ничего не думает. Ему показалось вдруг, что он совсем еще маленький в своем саду, Тёма - которого мама ведет за руку по дорожкам душистого сада в такой же ясный день, а он идет ленивый, беспечный и не хочет даже и думать, куда ведет его мама, зачем ведет: умыть ли, ногти отричь или почитать с ним что-нибудь.

К Карташеву подошел его товарищ, Володька Шуман, - толстый, веселый, добродушный.

- Ну, поздравляю.

Шуман еще вчера выдержал свой последний экзамен. Он пожал руку Карташеву и продолжал:

- Ну-о? Я вчера тоже так. Ничего: пройдет. Выспишься... Сегодня проснулся, и первая мысль, что никогда больше ни одного экзамена держать не надо. Хорошо!

Он спохватился и, весело раздувая ноздри, сказал шепотом:

- Однако, пожалуй, на прощанье выведут.

Он еще потоптался на месте и спросил:

- Ты что сегодня думаешь делать?

И, не ожидая ответа, сказал:

- Хочешь, поедем на острова, потом куда-нибудь еще закатимся... Ты вот что: иди побордай теперь, потом выспись и часам к семи приезжай ко мне. Идет?

- Идет.

Шуман озабоченно пожал руку Карташева и сказал: "А теперь я пошел".

Смешно переваливаясь, мелкими быстрыми шагами пошел к двери.

И Карташев двинулся за ним, в последний раз обводя экзаменационный зал и все стараясь отдать себе ясный отчет в переживаемом мгновении. Но ничего и из этого не выходило. Все было серо, буднично и обыкновенно.

Он устало, лениво шагал по лестнице и думал: "Самое приятное, конечно, что больше никогда не будет экзаменов".

И сейчас же подумал:

"А может быть, что-нибудь будет гораздо худшее, во сто тысяч раз худшее, чем экзамены?"

Он тревожно стал рыться в голове, что худшего могло бы с ним случиться? Умрет жена, дети, когда он женится? Но он никогда не женится. Что еще? Он приобретет состояние и потом потеряет его? Ему смешно стало. У него-то состо-

яние? Никогда у него ничего, кроме долгов, не было и, конечно, никогда ничего другого и не будет. И на что это состояние? Иметь разве рублей тысяч... Он увидел швейцара Онуфриева, красное лицо которого теперь расплылось от радости и сверкало, как красный медный шар.

- С окончанием! Потрудились, и наградил господь.

Это он-то, Карташев, потрудился? Ему стало совсем стыдно, и он смущенно заговорил:

- Не можете ли, Онуфриев, дать мне еще двадцать пять рублей?

Мысль эта у Карташева мелькнула вдруг, и надо было согласиться, что момент был выбран удачный. Расчувствовавшемуся Онуфриеву не удалось принять его обычный настороженный и даже неприступный вид.

Он только нерешительно сказал:

- Не много ли будет? Ведь триста с хвостиком уже.

- В последний раз, - ласково-просительно ответил Карташев.

Онуфриев полез в карман и, доставая из кожаного кошелька точно для случая приготовленную двадцатипятирублевку, отдуваясь, обиженно проговорил, отдавая ее Карташеву:

- Как тут вам откажешь? Только уже, пожалуйста, Артемий Николаевич, продолжал Онуфриев, вынимая перо, чернила и бумагу для расписки, - вы уже не обидите.

- Ну, что, бог с вами, Онуфриев, - усмехнулся Карташев.

Когда расписка была написана и спрятана, Онуфриев, подавая Карташеву фуражку, добродушно говорил:

- Согрешить меня заставили, Артемий Николаевич, - ведь после тех троек я на образа крестился, что больше вам не дам.

Да, это была глупая история с этими тремя тройками тогда ночью, когда вдруг он один остался на них среди ночи с поручением рассчитать их, потому что все деньги, какие были у компании, пошли на ужин, а так как он за ужин не платил, то ему и поручили, передав остаток в двенадцать рублей, рассчитаться с этими тройками. В таком отчаянном положении он и поехал тогда к Онуфриеву, подняв его с кровати, а на попытку Онуфриева отказаться сказал:

- Какие пустяки вы говорите, Онуфриев, пока вы не заплатите, я не уйду от вас, потому что ямщики меня убьют.

Это было так убедительно, что тут же, повернувшись к большому киоту с лампадкой, заставленному образами, взбешенный Онуфриев в белых подштанниках, белой рубахе, босой, красный, сияющий гневом, сказал, крестясь:

- Образами клянусь, что это в последний раз и больше от меня не получите ни копейки.

Месть этим не ограничилась. Надев калоши и пальто, он сам пошел рассчитывать ямщиков, выражая этим подрыв всякого доверия. Это было, конечно, обидно, но дело сделано, и ямщики получили свои деньги, и у него в кармане еще осталось двенадцать рублей, которых до поездки не было.

Было и еще кое-что, отчего Онуфриев охладел.

Как-то раз Онуфриев позвал Карташева к себе в гости.

Приглашение было необычное. Карташев поблагодарил и пришел.

На столе стоял самовар, варенье, бутылка с водкой, другая какая-то, ветчина.

За столом сидела худенькая, тоненькая, почти подросток, светлая блондинка с маленьким птичьим лицом, смешно, точно в миньютюре, снятым с лица самого Онуфриева. И хотя первое впечатление и было далеко не в пользу девушки, но Карташев с свойственной ему в этом отношении добросовестностью уже нашупывал те стороны, если не тела, то души ее, которые вызвали бы и в нем симпатию. Было, конечно, некрасиво смотреть, как она прямо с общего блондечка брала своей ложечкой варенье, съедала его, облизывала ложечку и опять брала ею варенье, как-то сгибая так пальцы, как будто бы шила. Но при всем том в ней не чувствовалось уверенности, что так и надо было делать. Напротив - робость, нерешительность, она как будто искала опоры, и, наверно, если бы Карташев сказал ей, как надо делать, она и делала бы все, что надо, не хуже всех других.

После чаю Онуфриев, сказав дочери сухо: "уйди", наклонился доверчиво к Карташеву и заговорил, понижая голос:

- Спасибо вам, Артемий Николаевич, что не побрезгали и зашли. Очень полюбил я вас. Простите за слово, как отец сына... Тридцатый год доходит, что я швейцаром в институте, а добреев вас и не видел. Очень много в вас этой доброты, и льнут к ней люди, как мухи к меду. Только ведь и пропасть так легко от этой самой доброты. Солнышко и то всех не обогреет. А ведь вы для всякого рады, а не можете, а беретесь. Ведь я вот вижу, через мои же руки все повестки проходят, сколько вы получаете, сколько каждый год привозите, сколько у меня и других, может быть, перехватываете, - по-царски жить бы можно, а вы в двугривенном всегда нуждаетесь. А отчего? Все людям...

Карташев энергично замотал головой.

- Нет, нет, Онуфриев. Это только так кажется: просто я не умею обращаться с деньгами. Когда у меня в кармане деньги есть, мне кажется, что они и всегда будут.

- И потому их и нет у вас. Ну, да известно, ваше дело барское, и маменька оставит, и сами станете зарабатывать...

- От матери я ничего не получу: все пойдет сестрам...

- Ну, это уж ваша вполне воля, а я к тому, что я-то жил не по-барски и всю жизнь копейками собирал. И все думал: как жить, как жить. Была жена у меня, мать вот Лизы, теперь только Лиза одна на весь свет божий. Для нее живу, для нее и работаю. Кто враг своему детищу, хотел бы я, чтобы хоть по мужу, если не по отцу, вышла бы она из хамского сословия, - хотел бы, а как бог велит, как люди побрезгают, нет ли?

Карташев оживленно и горячо начал доказывать, что времена теперь уже другие, что никакой давно уже разницы нет между сословиями, что его Лиза такое прелестное дитя, что он лично не сомневается в том, что она достойна высшего счастья на земле.

- Ваша бы воля, - перебил его Онуфриев, усмехнувшись. - Все в руках божиих: только одно, что Лиза моя тоже не с совсем пустыми руками в люди пойдет. Вот я и хотел об этом с вами посоветоваться. Я так вам, как на духу, откроюсь: скопил я тридцать семь тысяч, вот вы мне и посоветуйте теперь - в каких бумагах мне их лучше держать? - Онуфриев уставился в Карташева совсем близко своими рачими глазами. Карташев казалось, что он, как в лупу, смотрит в красную расширенную кожу его лица, где каждая пора рельефно обрисовывалась впади-

ной и где так много было каких-то белых пупырышков.

"Как в швейцарском сыре", - подумал Карташев, и ему показалось, что от лица Онуфриева и пахнет, как от швейцарского сыра. Он быстро подавил в себе неприятное ощущение и ласково-смущенно ответил:

- Видите, Онуфриев, я совершенно ничего не понимаю в бумагах.

- А как же... Ведь у маменьки вашей, наверно же, деньги в бумагах?

Карташев отлично знал, что у матери его никаких бумаг нет, что и дом и деревня заложены, но ответил:

- Конечно, вероятно, в бумагах, но она мне об этом никогда ничего не говорила. Дом есть, деревня есть... Если хотите, я напишу матери и спрошу...

- Ах, пожалуйста...

После этого Карташев стал прощаться, обещал заходить, несколько раз Онуфриев напоминал ему.

- Непременно, непременно, - отвечал озабоченно Карташев.

Как-то Онуфриев спросил:

- А что, от маменьки нет еще ответа?

- Вероятно, скоро будет.

- Вот с этим ответом, может, зашли бы... Обрадовали бы старика, и дочка все про вас спрашивает...

- Ваша дочка такая милая...

- Простая девушка.

- Слушай, Володька, - говорил Карташев, идя с Шуманом после этого разговора из института, - помоги, ради бога, может быть, ты знаешь, какие бумаги считаются самыми доходными?

- Тебе на что? Покупать хочешь?

Карташев рассказал ему, в чем дело.

- Тридцать семь тысяч?! Однако твоих сколько там?

- Что моих? Я каждую осень дарю ему сто рублей.

- Хорошенький процент за триста и за неполный год. Очевидно, таких дураков не ты один.

- Наверно, один. Он сам говорил, что за тридцать лет другого такого он не знал.

- Откуда же у него деньги?

Картагаев пожал плечами.

- Кого-нибудь убил, обокрал? - спросил Шуман, - впрочем, я отчасти догадываюсь, я кое-что слыхал, он дает свои деньги инженерам-подрядчикам и участвует в прибылях.

- Ну, а насчет бумаг?

- Все это глупости: он лучше тебя знает толк в бумагах. Он просто хочет женить свою дочку на тебе и таким путем показывает тебе свое состояние.

- Его дочь очень симпатичная...

- И ты, конечно, уже не прочь жениться?

- Я не женюсь, потому что решил никогда не жениться...

- И самое лучшее, что ты мог бы сделать и чего, конечно, не сделаешь. Десять раз женившись...

- И по закону можно только три всего...

- Ну, закон... - махнул рукой Шуман.

- Все-таки что ж мне ему сказать насчет бумаг?

- Насчет бумаг? Много хороших есть бумаг: Брянские. Ты вот что ему посоветуй - Харьковского строительного общества. Это новое дело и обещает очень много.

- Отлично!

На другой день Карташев так и сообщил Онуфриеву. Тем и кончился разговор у них о деньгах, и так больше и не был Карташев в гостях у Онуфриева, если не считать его визит тогда только за деньгами для троек.

Все это быстро вспомнилось теперь Карташеву, когда он шел по улице в свою кухмистерскую.

Время было еще раннее, и в кухмистерской, кроме одного молодого студента, никого не было. Студент усердно читал какую-то книгу и ел, или, вернее, пожирал ломти серого ароматного хлеба в ожидании, пока подадут обед.

Все так же стояли белые столы, и каждый стол принадлежал другой девушке. В дверях появилась Ефросинья. То же светлое накрахмаленное платье, черная бархатка на шее.

- Сегодня рано пришли.

Карташев сегодня как-то ближе взгляделся в Ефросинью и с грустью заметил следы времени на ее лице: как-то уменьшилось лицо, выдвинулся подбородок, сморщилась и сбежалась местами кожа, и не белизну шеи, а желтизну ее подчеркивала уже бархатка.

Пять лет назад это была свежая, еще красивая женщина. И резче подчеркивалась эта перемена, потому что в раскрытые окна смотрел ясный майский день, радостный, молодой, ленивый.

- Как поживает ваша дочка?

Точно кто дернул за невидимый шнурок, и лицо Ефросиньи сбежалось так, что слезы вот-вот готовы были брызнутуть из глаз. Она только махнула безнадежно рукой и ушла за новым блюдом. Умерла, что-нибудь случилось? Карташев не решился больше спрашивать.

Когда он кончил, народу набралось уже много. Все это были молодые, незнакомые, чужие. Теперь уже совсем чужие. Ефросинья кивнула ему головой и равнодушно бросила:

- Прощайте.

Да, все это чужое уже.

И

Карташев пришел домой и лег спать.

- Агаша, будите меня в пять часов. Крепко только будите, а то я две ночи не спал и легко и до завтра просплю, а мне необходимо...

Отдав это распоряжение, Карташев с удовольствием вытянулся на кровати.

Кончена одна часть жизни. Странная, кочевая изо дня в день жизнь. Только бы сегодня как-нибудь.

И сколько ни пробовал Карташев выбраться из этого сегодня, как-нибудь наладиться, так ничего никогда не выходило из этого. Жизнь точно в гостинице, куда приехал на несколько дней. И так шесть лет день за днем. Что сделано?

Ах, решительно ничего. Никаких знаний не приобретено. Каким-то только чудом сохранилась жизнь и возвратилось здоровье.

Возвратилось ли еще? Через десять, двадцать лет все это еще может сказать-

ся. В сущности, если серьезно вдуматься, жизнь уже разбита. Разве можно, например, при таких условиях...

Если серьезно вдуматься...

III

Долго будила Агаша Карташева. Были минуты, когда Карташев окончательно решал продолжать спать до следующего утра. Но все-таки проснулся и в шесть часов в штатском пальто и в студенческой фуражке вышел на улицу.

Ради такого торжественного случая он решил, благо деньги были, взять лихача.

- О-го, - сказал Шуман, выходя и увидев лихача. - Прежде всего вот что надо сделать: купить кокарды на шапки.

- Следовало бы и шапки новые.

- Сойдет, даже лучше так, - как будто старые уже инженеры с постройки приехали.

И конец дня был такой же ясный, как и весь день. Веяло прохладой от Невы, заходящее солнце так безмятежно золотило ее гладь, таким покоем, такой радостью веяло от воды, от зелени, от деревьев, такой чудный свежий аромат проникал весь воздух.

Вот Петербургская сторона, вот Александровский парк, вот дом, где когда-то он, Карташев, жил. Там и Марья Ивановна жила. Как безумно тогда он любил ее. Потом разлюбил. Другую полюбил. Как ее звали? Да, Анна Александровна. Она жила против Петровского парка. Он как сейчас помнит подъезд этого дома, переднюю, где однажды, стоя на коленях, он надевал на ее ботинки калоши. Вот Большой проспект. Как часто он гулял здесь под вечер с ней. Что-то было тогда очень хорошее. Такое хорошее, что и теперь стало Карташеву весело и легко.

- Все-таки хорошо, Володька?

- А? Что? Да ничего.

- О чём ты думал?

- О чём думал? Думал, что надо с завтрашнего дня начать шляться по разным передним: служить надо начинать.

- Давай вместе шляться?

- Гм... Давай, пожалуй.

- Черт возьми, денег ведь дадут, Володька.

- Ну, подождешь еще: нынче с местами не так просто. Те времена, когда со скамьи, да чуть ли не в главные инженеры прямо, - прошли. Теперь, ой-ой, как горб набьешь, пока дослужишься до чего-нибудь.

- Тебе хорошо, - ты все пять лет бывал на практике, и всё на постройке, а я ведь только кочегаром ездила.

- Да, трудно будет. Придется учиться у десятников. Ты сразу начальство из себя не торопись разыгрывать, а то дурака сваляешь. Сперва тише воды, ниже травы, учись, а там через несколько месяцев, как подучишься, и валай.

- Трудно строить?

- Трудно сапоги шить? Научишься, ничего трудного и не будет.

- Что, собственно, из наших институтских познаний пригодится?

- Для практического инженера? Ничего. Практически-то, что знает хорошо десятник, мы так никогда и знать не будем.

- А теорию ведь мы тоже не знаем.

- Научились рыться в справочных книжках, - на все ведь готовые формулы есть...

- Проживем?

Шуман только рукой махнул.

- Эх, Тёмка, Тёмка, - вздохнул Шуман, - бить тебя некому.

- А что?

- Да вот я думаю. Ну я? Ну и бог мне велит. А ведь ты... ведь ты такой талантливый.

- Я-то талантливый?

- Такой способный... самый способный между нами... Самую чуточку занимался бы и блестящим был бы инженером. Я не хочу тебе никаких комплиментов говорить, но ведь занимались же мы с тобой, и видел я, как тебе все без всякого трудаается.

- В этом-то и несчастье мое. Лучше было бы, если бы я знал, что мне дается с трудом, тогда бы я трудился.

- А без труда тоже нельзя, - пустой ракетой пролетишь... А мог бы... Куда поедем? На Крестовский, что ли?

- Покатаемся еще - и на Крестовский.

Вот и Стрелка. Плоская даль воды. Красный диск на горизонте, вереница экипажей, гуляющих на Стрелке.

Ох, сколько и здесь воспоминаний. Наташа... Сколько их, однако, было? С Наташой большой кусочек жизни ушел. Хороший? Так недавно все это было еще. Болит и до сих пор, лучше и не думать: прошло и не воротится. Тогда зимой на этом озере он ходил с ней, это было в первые дни знакомства, он до сих пор помнит ощущение прикосновения к ее руке в перчатке. Точно мир весь он принимал тогда от нее, замирая от восторга.

Оттуда поехали на Крестовский. И Шуман и Карташев слонялись, скучая в густой толпе собравшейся публики, то слушая исполнителей открытой сцены, то гуляя по аллеям.

- Скучно, - сказал Шуман, - едем домой, с завтрашнего дня надо приниматься заискание дела, пока еще не все кончили свои экзамены. Завтра в девять часов будь готов: я зайду за тобой.

- Так рано?

- Рано! Порядочный инженер в девять часов второй раз спать ложится.

- Ну, значит, я буду плохой инженер, потому что больше всего на свете люблю спать.

IV

В девять часов точно на другой день Шуман был у Карташева.

Карташев, конечно, не только не был готов, но и с кровати еще не вставал.

- Даю тебе четверть часа срока, - сказал деловито Шуман, - если не будешь готов, пойду один.

Он вынул из кармана газету и сел ее читать.

- И разговаривать не хочешь?

- Не хочу.

- Ну, и черт с тобой.

Карташев начал быстро одеваться.

- Стакан чаю можно выпить?